

Honoré de
BALZAC
1799 – 1850

Оноре де
БАЛЬЗАК

*Утраченные
иллюзии*



Санкт-Петербург

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44
Б 21

Перевод с французского Н. Г. Яковлевой

Серийное оформление В. В. Пожидаева

Оформление обложки В. А. Гореликова

Бальзак О. де

Б 21 Утраченные иллюзии : роман / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Н. Г. Яковлевой. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. — 704 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-05735-7

«Утраченные иллюзии» — роман Бальзака, помещенный им в «Человеческой комедии» в раздел «Сцены провинциальной жизни», на самом деле дает яркую и фантастически подробную панораму жизни французской столицы, вновь убеждая в невероятной способности французского классика проникнуть в любые сферы современной ему жизни, в самые потаснные уголки сознания персонажей. Герои романа Люсьен и Давид — юный провинциальный поэт и его друг, наивный изобретатель — смотрят на действительность сквозь розовые очки. Однако, попав в клещи нужды, они мало-помалу разочаровываются в прежних идеалах, познавая, какие механизмы на самом деле управляют обществом. Наступает горькая ясность: благими намерениями взрослеющих юношей вымощена дорога к успеху любой ценой.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

© Н. Г. Яковлева (наследник), перевод, 2017
© В. Левик (наследники), перевод стихов, 2017
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2013
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-05735-7

ВИКТОРУ ГЮГО

*Вы, по счастливому уделу Рафаэлей и Питтов, едва выйдя из отрочества, были уже большим поэтом; Вы, как Шатобриан, как все истинные таланты, восставали против завистников, притаившихся за столбцами Газеты или укрывшихся в ее подвалах. Я желал бы поэтому, чтобы Ваше победоносное имя способствовало победе произведения, которое я посвящаю Вам и которое, по мнению некоторых, является не только подвигом мужества, но и правдивой историей. Неужели журналисты, как и маркизы, финансисты, лекари, прокуроры, не были бы достойны пера Мольера и его театра? Почему бы Человеческой комедии, которая *castigat ridendo mores*¹, пренебречь одной из общественных сил, если парижская Печать не пренебрегает ни одной?*

Я счастлив, милостивый государь, пользуясь случаем, принести Вам дань моего искреннего восхищения и дружбы.

Де Бальзак

¹ Смехом исправляет нравы (лат.).

Часть первая

ДВА ПОЭТА

В те времена, к которым относится начало этой повести, печатный станок Стенхопа и валики, накатывающие краску, еще не появились в маленьких провинциальных типографиях. Несмотря на то что Ангулем основным своим промыслом был связан с парижскими типографиями, здесь по-прежнему работали на деревянных станках, обогативших язык ныне забытым выражением: *довести станок до скрипа*. В здешней отсталой типографии все еще существовали пропитанные краской кожаные мацы, которыми тискальщик наносил краску на печатную форму. Выдвижная доска, где помещается форма с набранным шрифтом, на которую накладывается лист бумаги, высекалась из камня и оправдывала свое название *мрамор*. Прожорливые механические станки в наши дни настолько вытеснили из памяти тот механизм, которому, несмотря на его несовершенства, мы обязаны прекрасными изданиями Эльзевиров, Плантенов, Альдов и Дидо, что приходится упомянуть о старом типографском оборудовании, вызывавшем в Жероме-Никола Сешаре суеверную любовь, ибо оно играет некую роль в этой большой повести о малых делах.

Сешар был прежде подмастерьем-тискальщиком — *Медведем*, как на своем жаргоне называют тискальщиков типографские рабочие, набирающие шрифт. Так, очевидно, прозвали тискальщиков за то, что они, точно медведи в клетке, топчутся на одном месте, раскачиваясь от кипсея к станку и от станка к кипсею. Медведи в отместку окрестили наборщиков *Обезьянами* за то, что на-

борщики с чисто обезьяньим проворством вылавливают литеры из ста пятидесяти двух отделений наборной кассы, где лежит шрифт. В грозную пору 1793 года Сешару было около пятидесяти лет от роду, и он был женат. Возраст и семейное положение спасли его от всеобщего набора, когда под ружье встали почти все рабочие. Старый тискальщик очутился один в типографии, хозяин которой, иначе говоря *Простак*, умер, оставив бездетную вдову. Предприятию, казалось, грозило неминуемое разорение: отшельник-Медведь не мог преобразиться в Обезьяну, ибо, будучи печатником, он так и не научился читать и писать. Несмотря на его невежество, один из представителей народа, спеша распространить замечательные декреты Конвента, выдал тискальщику патент мастера печатного дела и обязал его работать на нужды государства. Получив этот опасный патент, гражданин Сешар возместил убытки вдове хозяина, отдав ей сбережения своей жены, и тем самым приобрел за полцены оборудование типографии. Но не в этом было дело. Надо было грамотно и без промедления печатать республиканские декреты. При столь затруднительных обстоятельствах Жерому-Никола Сешару посчастливилось встретить одного марсельского дворянина, не желавшего ни эмигрировать, чтобы не лишиться угодий, ни оставаться на виду, чтобы не лишиться головы, и вынужденного добывать кусок хлеба любой работой. Итак, граф де Мокомб облачился в скромную куртку провинциального фактора: он набирал текст и держал корректуру декретов, которые грозили смертью гражданам, укрывавшим аристократов. Медведь, ставший Простакон, печатал декреты, расклеивал их по городу, и оба они остались целы и невредимы. В 1795 году, когда шквал террора миновал, Никола Сешар вынужден был искать другого *мастера на все руки*, способного совмещать обязанности наборщика, корректора и фактора. Один аббат, отказавшийся принять присягу и позже, при Реставрации, ставший епископом, занял место графа де Мокомба и работал в типографии вплоть до того дня, когда первый консул восста-

новил католичество. Граф и епископ встретились потом в палате пэров и сидели там на одной скамье. Хотя в 1802 году Жером-Никола Сешар не стал более грамотным, чем в 1793-м, все же к тому времени он припас *немалую толику* и мог оплачивать фактора. Подмастерье, столь беспечно смотревший в будущее, стал грозой для своих Обезьян и Медведей. Скарედность начинается там, где кончается бедность. Как скоро тискальщик почувал возможность разбогатеть, корысть пробудила в нем практическую сметливость, алчную, подозрительную и проницательную. Его житейский опыт восторжествовал над теорией. Он достиг того, что на глаз определял стоимость печатной страницы или листа. Он доказывал несведущим заказчикам, что набор жирным шрифтом обходится дороже, нежели светлым; если речь шла о петите, он уверял, что этим шрифтом набирать много труднее. Наиболее ответственной частью высокой печати было наборное дело, в котором Сешар ничего не понимал, и он так боялся остаться внакладе, что, заключая сделки, всегда старался обеспечить себе львиный барыш. Если его наборщики работали по часам, он глаз с них не сводил. Если ему случалось узнать о затруднительном положении какого-нибудь фабриканта, он за бесценку покупал у него бумагу и прятал ее в свои подвалы. К этому времени Сешар уже был владельцем дома, в котором с незапамятных времен помещалась типография. Во всем он был удачлив: он остался вдовцом, и у него был только один сын. Он поместил его в городской лицей, не столько ради того, чтобы дать ему образование, сколько ради того, чтобы подготовить себе преемника; он обращался с ним сурово, желая продлить срок своей отеческой власти, и во время каникул заставлял сына работать за наборной кассой, говоря, что юноша должен приучаться зарабатывать на жизнь и в будущем отблагодарить бедного отца, трудившегося не покладая рук ради его образования. Распростившись с аббатом, Сешар назначил на его место одного из четырех своих наборщиков, о котором будущий епископ отзывался как о честном и смыш-

леном человеку. Стало быть, старик мог спокойно ждать того дня, когда его сын станет во главе предприятия и оно расцветет в его молодых и искусных руках. Давид Сешар блестяще окончил Ангулемский лицей. Хотя папаша Сешар, бывший Медведь, неграмотный, безродный выскочка, глубоко презирал науку, все же он послал своего сына в Париж обучаться высшему типографскому искусству; но, посылая сына в город, который он называл *раем рабочих*, старик так убеждал его не рассчитывать на родительский кошелек и так настойчиво рекомендовал накопить побольше денег, что, видимо, считал пребывание сына в *стране Премудрости* лишь средством к достижению своей цели. Давид, обучаясь в Париже ремеслу, попутно закончил свое образование. Метранпаж типографии Дидо стал ученым. В конце 1819 года Давид Сешар покинул Париж, где его жизнь не стоила ни сентима отцу, теперь вызывавшему сына домой, чтобы вручить ему бразды правления. Типография Никола Сешара печатала судебные объявления в газете, в ту пору единственной в департаменте, исполняла также заказы префектуры и канцелярии епископа, а такие клиенты сулили благоденствие энергичному юноше.

Именно тогда-то братья Куэнте, владельцы бумажной фабрики, купили второй патент на право открыть типографию в Ангулеме; до той поры из-за происков старика Сешара и военных потрясений, вызвавших во времена Империи полный застой в промышленности, на этот патент не было спроса; по причине этого же застоя Сешар в свое время не приобрел его, и скарденность старика послужила причиной разорения старинной типографии. Узнав о покупке патента, Сешар обрадовался, понимая, что борьба, которая неминуемо возникнет между его предприятием и предприятием Куэнте, обрушится всей тяжестью на его сына, а не на него. «Я бы не выдержал, — размышлял он, — но парень, обучавшийся у господ Дидо, еще потягается с Куэнте». Семидесятилетний старик вздыхал о том времени, когда он сможет зажить в свое удовольствие. Он слабо разбирался в тонко-

стях типографии, зато слыл большим знатоком в искусстве, которое рабочие шутя называли *пьянографией*, а это искусство, весьма почитаемое божественным автором «Пантагрюэля», подвергаясь нападкам так называемых *Обществ трезвости*, со дня на день все больше предается забвению. Жером-Никола Сешар, покорный судьбе, предопределенной его именем¹, страдал неутолимой жаждой. Многие годы жена сдерживала в должных границах эту страсть к виноградному соку — влечение, столь естественное для Медведей, что г-н Шатобриан подметил это свойство даже у настоящих медведей в Америке; однако философы заметили, что в старости привычки юных лет проявляются с новой силой. Сешар подтверждал это наблюдение: чем больше он старился, тем больше любил выпить. Эта страсть оставила на его медвежьей физиономии следы, придававшие ей своеобразие. Нос его принял размеры и форму прописного А — кегля тройного канона. Щеки с прожилками стали похожи на виноградные листья, усеянные бородавками, лиловатыми, багровыми и часто всех цветов радуги. Точь-в-точь чудовищный трюфель среди осенней виноградной листвы! Укрытые лохматыми бровями, похожими на запорошенные снегом кусты, маленькие серые глазки его хитро поблескивали от алчности, убивавшей в нем все чувства, даже чувство отцовства, и сохраняли пронизательность даже тогда, когда он был пьян. Лысая голова, с плешью на темени, в венчике седеющих, но все еще выющихся волос, вызывала в воображении образы францисканцев из сказок Лафонтена. Он был приземист и пузат, как старинные лампы, в которых сторают больше масла, нежели фитиля; ибо излишества, в чем бы они ни сказывались, воздействуют на человека в направлении, наиболее ему свойственном: от пьянства, как и от умственного труда, тучный тучнеет, тощий тощает. Жером-Никола Сешар лет тридцать не расставался со знаменитой муниципальной треуголкой, в ту пору еще встречавшейся кое-где в провин-

¹ Сешар (Sechard) — Сохнувший (от *фр.* secher).

ции на голове городского барабанщика. Жилет и штаны его были из зеленоватого бархата. Он носил старый коричневый сюртук, бумажные полосатые чулки и башмаки с серебряными пряжками. Подобный наряд, выдававший в буржуа простолюдина, столь соответствовал его порокам и привычкам, так беспощадно изобличал всю его жизнь, что казалось, старик родился одетым: без этих облачений вы не могли бы вообразить его, как луковицу без шелухи. Если бы старый печатник издавна не обнаружил всю глубину своей слепой алчности, одного его отречения от дел было бы достаточно, чтобы судить о его характере. Несмотря на познания, которые его сын должен был вынести из высокой школы Дидо, он уже давно замыслил *обработать* дельце повыгоднее. Выгода отца не была выгодой сына. Но в делах для старика не существовало ни сына, ни отца. Если прежде он смотрел на Давида как на единственного своего ребенка, позже сын стал для него просто покупателем, интересы которого были противоположны его интересам: он хотел дорого продать, Давид должен был стремиться дешево купить; стало быть, сын превращался в противника, которого надо было победить. Это перерождение чувства в личный интерес, протекающее обычно медленно, сложно и лицемерно у людей благовоспитанных, совершилось стремительно и непосредственно у старого Медведя, явившего собою пример того, как лукавая пьянография может восторжествовать над ученой типографией. Когда сын приехал, старик окружил его той расчетливой любезностью, какой люди ловкие окружают свои жертвы: он ухаживал за ним, как любовник ухаживает за возлюбленной; он поддерживал его под руку, указывал, куда ступить, чтобы не запачкать ноги; он приказал положить грелку в его постель, затопить камин, приготовить ужин. На другой день, пытаясь за обильным обедом напоить сына, Жером-Никола Сешар, сильно подвыпивший, сказал: «*Потолкуем о делах?*» — и фраза эта прозвучала так нелепо между приступами икоты, что Давид попросил отложить деловые разговоры до следующего дня. Ста-

рый Медведь слишком искусно умел извлекать пользу из своего опьянения, чтобы отказаться от долгожданного поединка. «Довольно!» — заявил он. Пятьдесят лет он тянул лямку и ни одного часа не желает обременять себя. Завтра же его сын должен стать *Простаком*.

Тут, пожалуй, уместно сказать несколько слов о самом предприятии. Типография уже с конца царствования Людовика XIV помещалась в той части улицы Болье, где она выходит на площадь Мюрье. Стало быть, дом издавна был приспособлен к нуждам типографского производства. Обширная мастерская, занимавшая весь нижний этаж, освещалась через ветхую стеклянную дверь со стороны улицы и через широкое окно, обращенное во внутренний дворик. В контору к хозяину можно было пройти и через подъезд. Но в провинции типографское дело неизменно возбуждает столь живое любопытство, что заказчики предпочитали входить в мастерскую прямо с улицы через стеклянную дверь, сделанную в фасаде, хоть и надо было спускаться на несколько ступенек, так как пол в мастерской приходился ниже уровня мостовой. От изумления любопытствующие обычно не принимали во внимание неудобств типографии. Если им случалось, пробираясь по ее узким проходам, засмотреться на своды, образуемые листами бумаги, растянутыми на бечевках под потолком, они наталкивались на наборные кассы или задевали шляпами о железные распорки, поддерживающие станки. Если им случалось заглядеться на наборщика, который читал оригинал, проворно вылавливал буквы из ста пятидесяти двух ящичков кассы, вставлял шпону и перечитывал набранную строку, они натыкались на стопы увлажненной бумаги, придавленной камнями, или ударялись боком об угол станка; все это к великому удовольствию Обезьян и Медведей. Не было случая, чтобы кому-нибудь удавалось дойти без приключений до двух больших клеток, находившихся в глубине этой пещеры и представлявших собою со стороны двора два безобразных выступа, в одном из которых восседал фактор, а в другом сам хозяин типографии. Виноградные

лозы, изящно обвивавшие стены здания, приобретали, принимая во внимание славу хозяина, особо приманчивую местную окраску. В глубине двора, прилепившись к стене соседнего дома, ютилась полуразрушенная пристройка, где смачивали и подготавливали для печати бумагу. Там помещалась каменная мойка со стоком, где перед печатанием и после печатания промывались формы, в просторечье *печатные доски*; оттуда в канаву стекала черная от типографской краски вода и там смешивалась с кухонными помоями, цветом своим смущая крестьян, съезжавшихся в базарные дни в город. «А ну как сам черт моется в этом доме?» — говаривали они. К пристройке примыкали с одной стороны кухня, с другой — сарай для дров. Во втором этаже этого дома, с мансардой из двух каморок, было три комнаты. Первая из них, находившаяся над сенями и столь же длинная, если не считать ветхой лестничной клетки, освещалась с улицы сквозь узкое оконце, а со двора сквозь слуховое окно и служила вместе и прихожей, и столовой. Незатейливо выбеленная известью, она с грубой откровенностью являла образец купеческой скарденности; грязный пол никогда не мылся; обстановку составляли три скверных стула, круглый стол и буфет, стоявший в простенке между дверьми, которые вели в спальню и гостиную; окна и двери потемнели от грязи; комната была обычно завалена кипами оттисков и чистой бумаги; нередко на этих кипах можно было увидеть бутылки, тарелки с жарким или сладостями со стола Жерома-Никола Сешара. Спальня, окно которой, в раме со свинцовым переплетом, выходило во двор, была обтянута ветхими коврами, какими в провинции украшают стены зданий в день праздника Тела Господня. Там стояли широкая кровать с колонками и пологом, с шитыми подзорами, и пунцовым покрывалом, два кресла, источенные червями, два мягких стула орехового дерева, крытые ручной вышивкой, старая конторка и на камине — часы. Эта комната, дышавшая патриархальным благодушием и выдержанная в коричневых тонах, была обставлена Рузо, предшественником и хозяином Жеро-

ма-Никола Сешара. Гостиная, отделанная в новом вкусе г-жою Сешар, являла взору ужасающую деревянную обивку стен, окрашенную в голубую краску, как в парикмахерской; верхняя часть стен была оклеена бумажными обоями, на которых темно-коричневой краской по белому полю были изображены сценки из жизни Востока; обстановка состояла из шести стульев, обитых синим сафьяном, со спинками в форме лиры. Два окна, грубо выведенные арками и выходившие на площадь Мюрье, были без занавесей; на камине не было ни канделябров, ни часов, ни зеркала. Г-жа Сешар умерла в самый разгар своего увлечения убранством дома, а Медведь, не усмотрев в напрасных ухищрениях никакой выгоды, отказался от этой затеи. Сюда именно, *pede titubante*¹, привел Жером-Никола Сешар своего сына и указал ему на лежавшую на круглом столе опись типографского имущества, составленную фактором под его руководством.

— Читай, сынок, — сказал Жером-Никола Сешар, переводя пьяный взгляд с бумаги на сына и с сына на бумагу. — Увидишь, что я отдаю тебе не типографию, а сокровище.

— «Три деревянных станка с железными распорками, с чугунной плитой для растирания красок...»

— Мое усовершенствование, — сказал старик Сешар, прерывая сына.

— «...со всем оборудованием, кипсеями, мацами, верстаками и прочая... тысяча шестьсот франков!..» Но, отец, — сказал Давид Сешар, выпуская из рук инвентарную опись, — да это просто какие-то *деревяшки*, а не станки! И ста экю они не стоят, разве для топки печей пригодятся...

— Деревяшки?! — вскричал старик Сешар. — Деревяшки?.. Бери-ка опись и пойдем вниз! Поглядишь, способна ли ваша слесарная дребедень работать так, как эти добрые, испытанные, старинные станки. И тогда у тебя язык не повернется хулить честные станки, ведь они

¹ Спотыкаясь (*лат.*).

прочны, что твои почтовые кареты, и будут служить тебе всю твою жизнь, не разоряя на починки. Де-ре-вяшки! Да эти деревяшки прокормят тебя! Де-ре-вяшки! Твой отец работал на них целую четверть века. Они и тебя в люди вывели.

Отец сломя голову сбежал вниз по исхоженной, покосившейся, шаткой лестнице и не споткнулся; он распахнул дверь, ведущую из сеней в типографию, бросился к ближайшему станку, как и прочие, ради этого случая тайком смазанному маслом и вычищенному, и указал на крепкие дубовые стойки, натертые до блеска учеником.

— Не станок, а загляденье! — сказал он.

Печатался пригласительный билет на свадьбу. Старый Медведь опустил рашкет на декель и декель на мрамор, который он прокатил под станок; он выдернул куку, разматал бечевку, чтобы подать мрамор на место, поднял декель и рашкет с проворством молодого Медведя. Станок в его руках издал столь забавный скрип, что вы могли счесть его за дребезжание стекла под крылом птицы, ударившейся на лету об окно.

— Неужто хоть один английский станок так работает? — сказал отец изумленному сыну.

Старик Сешар от первого станка перебежал ко второму, от второго к третьему и поочередно на каждом из них с одинаковой ловкостью проделал то же самое. От его глаз, помутившихся от вина, не ускользнуло какое-то пятнышко на последнем станке, оставшееся по небрежности ученика; пьяница, крепко выругавшись, принялся начищать станок полкой сюртука, уподобясь барышнику, который перед продажей лошади чистит ее скребницей.

— С этими тремя станками ты, Давид, и без фактора выручишь тысяч девять в год. Как будущий твой компаньон, я не разрешаю тебе заменять их проклятыми металлическими станками, от которых изнашивается шрифт. Вы там, в Париже, подняли шум — то-то, сказать, чудо! — вокруг изобретения вашего проклятого англичанина, врага Франции, только и помышлявшего что о выгоде для словолитчиков. А-а, вы бредите стенхопами!

Благодарствую за ваши стенхопы! Две тысячи пятьсот франков каждый! Да это почти вдвое дороже всех моих трех сокровищ, вместе взятых! Вдобавок они недостаточно упруги и сбивают литеры. Я не учен, как ты, но крепко запомни: стенхопы — смерть для шрифтов. Мои три станка будут служить тебе без отказа, печатать *чистехонько*, а большего от тебя ангулемцы и не потребуют. Печатай ты хоть на железе, хоть на дереве, хоть на золоте или на серебре, они ни лиара лишнего не заплатят.

— «*Item*¹, — читал Давид, — пять тысяч фунтов шрифта из словолитни господина Вафлара...»

При этом имени ученик Дидо не мог удержаться от улыбки.

— Смейся, смейся! Двенадцать лет минуло, а шрифты как новенькие. Вот это, скажу, словолитня! Господин Вафлар — человек честный и материал поставляет прочный; а, по мне, лучший словолитчик тот, с кем реже приходится дело иметь.

— «...оценены в десять тысяч франков...» — продолжал Давид. — Десять тысяч франков, отец! Но ведь это по сорок су за фунт, а господа Дидо продают новый цинцеро по тридцать шесть су за фунт. Десять су за фунт, как за простой лом, красная цена вашим старым *гвоздям*.

— Что-о? Гвозди? Это ты так называешь батарды, куле, рондо господина Жилле, бывшего императорского печатника! Да этим шрифтам цена шесть франков фунт! Лучшие образцы граверного искусства! Пять лет, как куплены, а посмотри-ка, многие из них еще новешенькие!

Старик Сешар схватил несколько пачек с образцами гарнитур, не бывшими в употреблении, и показал их сыну.

— Я по ученой части слаб, не умею ни читать, ни писать, но у меня достаточно смекалки, чтобы распознать, откуда пошли английские шрифты твоих господ Дидо! От курсивов фирмы Жилле! Вот *рондо*, — сказал он, ука-

¹ Также (*лат.*).

зывая на одну из касс и извлекая оттуда литеру *М* круглого цицero, еще не початого.

Давид понял, что бесполезно спорить с отцом. Надо было либо все принять, либо все отвергнуть, сказать *да* или *нет*. Старый Медведь включил в опись решительно все, до последней бечевки. Любая рамка, дощечка, чашка, камень и щетка для промывки — все было оценено с рачительностью скряги. Общая цифра составляла тридцать тысяч франков, включая патент на звание мастера-типографа и клиентуру. Давид раздумывал, выйдет ли прок из такого дела? Заметив, что сын озадачен описью имущества, старик Сешар встревожился; он предпочел бы ожесточенный торг молчаливому согласию. Уменьше торговаться говорит о том, что покупатель — человек делового склада и способен защищать свои выгоды. «*Кто не торгуется, —* говаривал старик Сешар, *— тот ничего и не заплатит*». Стараясь угадать, о чем думает его сын, он между тем перечислял жалкое оборудование, без которого, однако ж, не обходится ни одна провинциальная типография; он поочередно подводил Давида к станку для лощения бумаги, к станку для обрезывания бумаги, предназначенной для выполнения городских заказов, и расхваливал их устройство и прочность.

— Старое оборудование всегда самое лучшее, — сказал он. — В типографском деле за него надобно было бы платить дороже, чем за новое, как это водится у золотобитов.

Ужасающие заставки с изображениями гиенов, амуров, мертвецов, подымающих камень своего собственного надгробия, предназначенные увенчивать какое-нибудь *М* или *В*, огромные обрамления для театральных афиш, украшенные масками, — все это благодаря красноречию пьяного Жерома-Никола превращалось в нечто, не имеющее себе цены. Он рассказал сыну о том, как крепко провинциалы держатся за свои привычки: тщетны были бы усилия соблазнить их даже кое-чем и лучшим. Он сам, Жером-Никола Сешар, пытался было пустить в ход календарь, затмевавший собою преслову-

тый «Двойной Льежский», который печатался на сахарной бумаге! И что же? Великолепным его календарям предпочли привычный «Двойной Льежский»! Давид убедится в ценности этой старины, коль скоро станет продавать ее дороже самых разорительных новинок.

— Так вот что, сынок! Провинция есть провинция, а Париж — это Париж. Положим, явится к тебе человек из Умо заказать пригласительные билеты на свадьбу, а ты их отпечатаешь без купидона с гирляндами? Да он сам себе не поверит, что женится, и возвратит заказ, ежели увидит только одно *М*, как у господ Дидо, знаменитостей книгопечатного дела, но в провинции их выдумки привыются разве что лет через сто. Вот оно как!

Люди великодушные обычно плохие дельцы. Давид был из тех застенчивых и нежных натур, которые страшатся споров и отступают, стоит только противнику затронуть их сердце. Возвышенные чувства и власть, которую сохранил над ним старый пьяница, обезоруживали сына в постыдном торге с отцом, тем более что он не сомневался в добрых намерениях старика, ибо сперва приписывал его ненасытную алчность привязанности печатника к своим орудиям производства. Однако ж, поскольку Жером-Никола Сешар приобрел все оборудование от вдовы Рузо за десять тысяч франков на ассигнации, а при настоящем положении вещей тридцать тысяч франков были цифрой баснословной, сын вскричал:

— Отец, вы меня задушить хотите!

— Я?! Родитель твой! Опомнись, сынок! — воскликнул старый пьяница, воздев руки к потолку, где сушилась бумага. — Но во что же ты ценишь патент, Давид? Да знаешь ли ты, что нам дает один только «Листок объявлений», считая десять су за строку? Прошлый месяц одно это издание принесло мне доходу пятьсот франков! Сынок, открой-ка книги да взгляни-ка в них! А сколько еще дают афиши и ведомости префектуры, заказы мэрии и епископата! Ты просто ленивец, не желаешь разбогатеть. Торгуешься из-за лошадки, которая тебя выве-

зет в какое-нибудь превосходное поместье вроде имения Марсак.

К инвентарной описи был приложен договор об основании товарищества между отцом и сыном. Добрый отец отдавал товариществу внаймы свой дом за тысячу двести франков, хотя сам купил его за шесть тысяч ливров, и притом оставлял за собою одну из двух комнаток в мансарде. Покуда Давид Сешар не выплатит ему тридцати тысяч франков, доходы будут делиться пополам, полным и единственным владельцем типографии он станет в тот день, как расквитается с отцом. Давид взвесил в уме ценность патента, клиентуры и «Листка объявлений», не принимая во внимание оборудования; он решил, что справится, и принял условия. Отец, привыкший к крестьянской мелочности и ничего ровно не смысливший в дальновидной расчетливости парижан, был удивлен столь быстрым согласием сына.

«Уж не разбогател ли мой сын? — подумал он. — А может, он замышляет, как бы мне не заплатить?»

Заподозрив, что у сына есть деньги, старик стал спрашивать, не может ли он ссудить отца в счет будущего? Любопытство отца пробудило недоверие в сыне. Давид замкнулся в себе. На другой день старик Сешар приказал подмастерью перенести в свою комнатку на третьем этаже всю мебель, рассчитывая отправить ее в деревню на обратных порожних повозках. Он предоставил сыну три пустые комнаты во втором этаже и ввел его во владение типографией, не дав ни сантима для расплаты с рабочими. Когда Давид попросил отца, как совладельца, принять участие в расходах, необходимых для их общего дела, старый печатник притворился несообразительным. «Да где это сказано, в придачу к типографии еще и деньги давать? — говорил он. — Моя часть уже вложена в дело». Прижатый к стене логикой сына, старик отвечал, что, когда он покупал типографию у вдовы Рузо, он сумел обернуться, не имея ни единого су в кармане. Ежели он, нищий, необразованный рабочий, вышел из положения, то ученик Дидо и подавно найдет вы-

ход. Притом Давид и деньги-то зарабатывает благодаря образованию, а кому он обязан этим образованием, как не отцу, который в поте лица своего добывал для этого средства? И теперь как раз кстати заработанные деньги пустить в оборот.

— И куда ты дел свои *получки*? — сказал он, пытаясь выяснить вопрос, не разрешенный накануне из-за скрытности сына.

— Но ведь я на что-то жил. Покупал книги, — раздраженно отвечал Давид.

— А-а! Ты покупал книги? Плохо же ты поведешь дела! Кто покупает книги, тому не пристало их печатать, — отвечал Медведь.

Давид испытал самое ужасное из унижений — унижение, причиненное нравственным падением отца; ему пришлось выслушать целый поток низких, слезливых, подлых торгашеских доводов, которыми старый скряга оправдывал свой отказ. Давид затаил душевную боль, почувствовав себя одиноким, лишенным опоры, обнаружив торгаша в отце, и из философской любознательности пожелал изучить его поглубже. Он заметил старику, что никогда не требовал от него отчета о состоянии матери. Если это состояние не могло пойти в счет платы за типографию, нельзя ли, по крайней мере, вложить его в их общее дело?

— Состояние твоей матери? — сказал старик Сешар. — Оно было в ее уме и красоте!

В этом ответе сказалась вся натура старика, и Давид понял, что, настаивая на отчете, он вынужден будет затеять бесконечную разорительную и позорную тяжбу. Благородное сердце приняло бремя, уготованное ему, хотя он знал, как трудно ему будет выполнить обязательства, принятые им на себя в отношении отца.

«Буду работать, — сказал он себе. — Тяжело придется, но и старику бывало нелегко. Да и работать я буду разве не на себя самого?»

— Я тебе оставлю сокровище, — сказал отец, смущенный молчанием сына.

Давид спросил, что это за сокровище.

— Марион, — сказал отец.

Марион была дородная крестьянская девушка, незаменимая в их типографском деле: она промачивала и обрезала бумагу, выполняла всякие поручения, готовила пищу, стирала белье, разгружала повозки с бумагой, ходила получать деньги и чистила мацы. Будь Марион грамотной, старик Сешар поручил бы ей и набор.

Отец пешком пошел в деревню. Как ни был он доволен своей сделкой, скрытой под вывеской товарищества, все же его беспокоило, каким путем будет он выручать от сына свои деньги. Вслед за тревогами, связанными с продажей, следуют тревоги из-за неуверенности в платеже. Все страсти по существу иезуитичны. Этот человек, почитавший образование бесполезным, старался уверить себя в облагораживающем влиянии наук. Он отдал свои тридцать тысяч франков под залог понятий о чести, привитых его сыну образованием. Давид воспитан в строгих правилах; он изойдет кровавым потом, но выполнит обязательства; знания помогут ему изыскать средства, он уже проявил свое великодушие, он заплатит! Многие отцы, поступая так, думают, что они поступают по-отечески, в чем и убедил себя наконец старый Сешар, подходя к своему винограднику на окраине Марсака, небольшой деревушки в четырех лье от Ангулема. Усадьба его с красивым домом, выстроенным прежним владельцем, расширялась из года в год начиная с 1809 года, когда старый Медведь ее приобрел. Он променял заботы о печатном станке на заботы о виноградном прессе и говаривал, что недаром издавна привержен к вину, — ему ли не знать в нем толк. В первый год жизни в деревенском уединении озабоченное лицо старика Сешара постоянно маячило над виноградными тычинами; он вечно торчал в винограднике, как прежде буквально жил в типографии. Нежданные тридцать тысяч франков опьянили его сильнее, нежели молодое сентябрьское вино, в воображении он уже держал деньги в руках и пересчитывал их. Чем менее законно доставалась ему эта сумма,

тем более он желал положить ее себе в карман. Поэтому, понуждаемый тревогой, он часто прибегал из Марсака в Ангулем. Он взбирался по откосу скалы, на вершине которой раскинулся город, шел в мастерскую, чтобы посмотреть, справляется ли его сын с делами. Станки стояли на своих местах. Единственный ученик в бумажном колпаке отчищал мацы. Старый Медведь слышал скрип станка, печатавшего какое-нибудь извещение, он узнавал свои старинные шрифты, он видел сына и фактора, каждого в своей клетке, читавших книги, которые Медведь принимал за корректуры. Отобедав с Давидом, он возвращался в Марсак в тревожном раздумье. Скупость, как и любовь, обладает даром провидения грядущих опасностей, она их чувствует, она как бы торопит их наступление. Вдали от мастерской, где станки действовали на него завораживающе, переноса в те дни, когда он наживал состояние, виноградарь начинал подмечать в сыне тревожные признаки бездеятельности. Фирма «Братья Куэнте» страшила его, он видел, как она затмевает фирму «Сешар и сын». Короче, старик чувствовал веяние несчастья. Предчувствие не обманывало его: беда нависла над домом Сешара. Но у скупцов свой бог. И по непредвиденному стечению обстоятельств этот бог должен был отвалить в мощную пьяницу весь барыш от его ростовщической сделки с сыном. Но почему же погибала типография Сешара, несмотря на все условия для процветания? Равнодушный к клерикальной реакции в правящих кругах, вызванной Реставрацией, но равно безразличный и к судьбам либерализма, Давид хранил опаснейший нейтралитет в вопросах политических и религиозных. Он жил в то время, когда провинциальные коммерсанты, если они желали иметь заказчиков, обязаны были придерживаться определенных мнений и выбирать между либералами и роялистами. Любовь, закравшаяся в сердце Давида, его научные интересы, благородство его натуры не позволили развиваться в нем алчности к наживе, которая изобличает истого коммерсанта и которая могла бы побудить его изучить все особенности провинциальной

и парижской промышленности. Оттенки, столь резкие в провинции, стусевываются в мощном движении Парижа. Братья Куэнте пели в один голос с монархистами, соблюдали посты, посещали собор, обхаживали духовенство и первые переиздали книги духовного содержания, как только в них появился спрос. Таким путем Куэнте опередили Давида Сешара в этой доходной отрасли и вдобавок оклеветали его, обвинив в вольнодумстве и безбожии. Как можно, говорили они, иметь дело с человеком, у которого отец — сентябрист, пьяница, бонапартист, старый скряга и притом рано или поздно оставит сыну груды золота? А они бедны, обременены семьей, тогда как Давид холост и будет баснословно богат; не мудрено, что он потакает своим прихотям, и так далее. Под влиянием обвинений, возводимых против Давида, префектура и епископат передали наконец все свои заказы братьям Куэнте. Вскоре эти алчные противники, ободренные беспечностью соперника, основали второй «Листок объявлений». Работа старой типографии свелась к случайным заказам, а доход от объявлений уменьшился наполовину. Разбогатева на издании церковных требников и книг религиозного содержания, принесших солидную прибыль, фирма Куэнте вскоре предложила Сешарам продать «Листок» — короче, предоставить им исключительное право на департаментские объявления и судебные публикации. Как только Давид сообщил эту новость отцу, старый виноградарь, и без того встревоженный успехами фирмы Куэнте, полетел из Марсака на площадь Мюрье с быстротою ворона, почуявшего трупы на поле битвы.

— Предоставь мне столкнуться с Куэнте, не путайся в это дело, — сказал он сыну.

Старик быстро разгадал, что именно прельщает Куэнте, он испугал их своей прозорливостью. Сын его собирается сделать глупость, он хочет это предотвратить, сказал он. «На что мы будем нужны нашим заказчикам, ежели уступим «Листок»? Стряпчие, нотариусы, все купечество в Умо — либералы; Куэнте думали утопить Се-

шаров, обвинив их в либерализме, а сами бросили им якорь спасения — ведь объявления либералов останутся за Сешарами! Продать «Листок»! Стало быть, надобно продать и все оборудование типографии, и патент».

Он запросил с Куэнте шестьдесят тысяч франков — стоимость типографии: он не желает разорить сына, он любит, он защищает его. Виноградарь ссылался на сына, как крестьяне ссылаются на жен: сын соглашался или не соглашался, смотря по предложениям, которые старик вырывал одно за другим у Куэнте, и он заставил их, правда не без труда, заплатить за «Шарантский листок» двадцать две тысячи франков. Давид же обязался впредь не издавать никакой газеты под угрозой тридцати тысяч неустойки. Сделка была равносильна самоубийству типографии Сешара, но это мало заботило винодела. Грабеж всегда влечет за собою убийство. Старик рассчитывал прибрать к рукам эту сумму в счет уплаты за пай в товариществе; а ради того, чтобы получить деньги, он охотно отдал бы и Давида в придачу, тем более что этот несносный сын имел право на половину нечаянного сокровища. В возмещение убытков великодушный отец уступал сыну типографию, не отступаясь, однако ж, от пресловутых тысячи двухсот франков за наем дома. После продажи «Листка» братьям Куэнте старик редко навещался в город: он ссылался на свой преклонный возраст, но истинная причина была в том, что теперь его мало заботила типография, — ведь она ему уже не принадлежала! Однако ж он не мог отрешиться от старинной привязанности к своим станкам. Когда дела приводили его в Ангулем, чрезвычайно трудно было решить, что более влекло старика заглянуть в свой дом — деревянные ли станки или сын, которому он «для порядка» напоминал о плате за помещение. Его бывший фактор, перешедший теперь к Куэнте, разгадал подоплеку этого отцовского великодушия: хитрая лиса, говорил он, сохраняет таким путем за собою право вмешиваться в дела сына, ибо в силу долга, который накапливается за наем помещения, он становится главным его заимодавцем.

Беспечность Давида Сешара имела свои причины, вполне обрисовывающие характер этого молодого человека. Через несколько дней после того, как он вступил во владение родительской типографией, он встретил своего школьного товарища, в ту пору крайне нуждавшегося. Товарищ Давида Сешара, молодой человек двадцати одного года, по имени Люсьен Шардон, был сыном бывшего военного лекаря республиканской армии, уволенного в отставку после ранения. Природа создала Шардона-отца химиком, а случай сделал его аптекарем в Ангулеме. Смерть настигла его в самом разгаре подготовительных работ, необходимых для осуществления прибыльного изобретения, которому он посвятил многие годы ученых исследований. Он хотел найти средство против подагрических заболеваний. Подагра — болезнь богатей, а богатые готовы дорого заплатить, чтобы вернуть утраченное здоровье. Поэтому аптекарь и поставил себе цель — решить эту задачу, хотя его волновали и многие другие проблемы.

Покойный Шардон, когда ему пришлось выбирать между наукой и практикой, понял, что только наука может его обеспечить; итак, он изучил причины болезни и в основу лечения положил известный режим, приноровив его к особенностям каждого организма. Он умер в Париже, приехав туда хлопотать о признании своего изобретения Академией наук, и ему не довелось воспользоваться плодами своих трудов. Будучи уверен, что он разбогатеет, аптекарь ничего не жалел ради образования сына и дочери, и содержание семьи поглощало все доходы от аптеки. Итак, он не только оставил детей в нищете, но, на их несчастье, воспитал их в надежде на блестящее будущее, которая угасла вместе с ним. Знаменитый Деппен, лечивший его, был при нем до последней минуты и видел, как он мучился в бессильной ярости. Честолюбие бывшего лекаря объяснялось его страстной любовью к жене, последней представительнице рода де Рюампре, которую он чудом спас от эшафота в 1793 году. Не спрашивая согласия девушки на подобный обман,

он заявил, что она беременна, и выиграл время. Заслужив некоторое право жениться на ней, он и женился, несмотря на их бедность. Их дети, как и все дети любви, получили в наследство лишь дивную красоту матери — дар подчас роковой, если ему сопутствует нищета. Обманутые надежды, непосильный труд, вечные заботы, угнетавшие г-жу Шардон, не пощадили ее красоты, а неотвязная нужда изменила привычки; но несчастье не сломило стойкости матери и детей. Бедная вдова продала аптеку, помещавшуюся на Главной улице Умо, самого большого предместья Ангулема. Деньги, вырученные от продажи аптеки, обеспечили ренту в триста франков, но этой суммы было недостаточно даже для нее одной; однако ж мать с дочерью примирились со своим положением и без ложного стыда взялись за работу по найму. Мать ухаживала за роженицами, и мягкость ее обхождения была причиной того, что г-жу Шардон предпочитали другим в богатых домах, где она и жила, ничего не стоя детям, да притом еще зарабатывала двадцать су в день. Желая уберечь сына от горестного сознания, что его мать занимает такое низкое положение в обществе, она стала именоваться г-жой Шарлоттой. Нуждавшиеся в ее услугах обращались к г-ну Постэлло, преемнику г-на Шардона. Сестра Люсьена работала у почтенной женщины, которая пользовалась уважением в Умо, их соседки, г-жи Приер, принимавшей в стирку тонкое белье, и зарабатывала около пятнадцати су в день. Она была старшей над мастерицами и занимала в прачечной как бы особое положение, что несколько подымало ее над средой гризеток. Скудные плоды их работы вместе с рентой г-жи Шардон в триста ливров составляли около восьмисот франков в год, на которые всем троим приходилось жить, одеваться и платить за квартиру. При самой строгой бережливости семье было недостаточно этой суммы, почти полностью уходившей на одного Люсьена. Г-жа Шардон и ее дочь Ева верили в Люсьена, как верила в Магомета его жена; в своем самопожертвовании во имя его буду-

щего они не знали предела. Бедная семья жила в Умо, в квартире, снятой за чрезвычайно скромную плату у премника г-на Шардона и помещавшейся в глубине заднего двора, над лабораторией. Люсьен занимал убогую комнату в мансарде. Под влиянием отца, пламенного почитателя естественных наук, увлекшего и его на этот путь, Люсьен стал одним из блестящих воспитанников Ангулемского коллежа, где он обучался в третьем классе, когда Сешар кончал курс.

Когда случай свел двух школьных товарищей, Люсьен, устав пить из грубой чаши нищеты, был накануне одного из тех решений, к которым прибегают в двадцать лет. Сорок франков в месяц, великодушно предложенные ему Давидом, вызвавшимся обучить его ремеслу фактора, хотя фактор был ему совершенно не нужен, спасли Люсьена от отчаянья. Узы школьной дружбы, теперь возобновленной, вскоре окрепли благодаря сходству их судьбы и различию натур. Они были одарены многими талантами и тем светлым умом, который возносит человека на высоты духа, и сознавали, что оба брошены на дно общества. Несправедливость судьбы связала их крепкими узами. Притом они оба разными путями пришли к поэзии. Предназначавшийся к умственной деятельности и высоким трудам в области естественных наук, Люсьен пламенно мечтал о литературной славе; между тем Давид, натура созерцательная и предрасположенная к поэзии, чувствовал влечение к точным наукам. Обмен ролями породил некое духовное братство. Люсьен не замедлил поделиться с Давидом широкими замыслами, которые унаследовал от отца, мечтавшего о приложении науки к промышленности, а Давид указал Люсьену новые пути, которыми тот должен войти в литературу, чтобы составить себе имя и состояние. Дружба молодых людей в короткое время обратилась в страстную привязанность, какая только может возникнуть на исходе юности. Вскоре Давид увидел прекрасную Еву и влюбился в нее, как влюбляются натуры, склонные к мечтательности и созерцанию. Слова литургии: «Et nunc et semper et in secula se-

culorum»¹ — девиз возвышенных безвестных поэтов, чьи великолепные эпические поэмы зарождаются и погибают в двух любящих сердцах. Когда влюбленный проник в тайну надежд, возлагаемых на прекрасное поэтическое дарование Люсьена его матерью и сестрой, когда их слепое поклонение передалось и ему, он понял, как сладостна близость с возлюбленной, если разделяешь с нею ее жертвы и упования. В Люсьене Давид обрел брата. Подобно тому, как крайние правые желают быть больше роялистами, чем сам король, так Давид превзошел и мать и сестру верой в гениальность Люсьена и баловал его, как мать балует ребенка. Однажды, когда они испытывали особенно острую нужду в деньгах, связывавшую им руки, и, подобно всем молодым людям, обсуждали различные способы быстрого обогащения и тщетно отрясали все плодовые деревья, уже обобранные теми, кто пришел ранее, Люсьен вспомнил, что его отца занимали две задачи: г-н Шардон говорил, что можно вдвое понизить стоимость сахара, применив при его производстве один новый химический состав, и вдвое удешевить бумагу, употребив вывезенное из-за океана дешевое растительное сырье, сходное с тем сырьем, которым пользуются китайцы. Давид, понимая значение последнего вопроса, уже обсуждавшегося у Дидо, ухватился за эту мысль, сулившую богатство, и стал смотреть на Люсьена как на благодетеля, перед которым он вечно будет в неоплатном долгу.

Всякому понятно, как трудно было молодым людям, увлеченным высокими идеями и жившим внутренней жизнью, управлять типографией. Далеко им было до братьев Куэнте — печатников, книгоиздателей епископата, владельцев «Шарантского листка», отныне единственной газеты в департаменте, — которым их типография приносила пятнадцать—двадцать тысяч дохода: типография Сешара-сына едва выручала триста франков в месяц, из которых надо было платить жалованье факто-

¹ И ныне, и присно, и во веки веков (*лат.*).

ру и Марион, вносить налоги, оплачивать помещение; Давиду оставалось не более сотни франков в месяц. Люди деятельные и предприимчивые приобрели бы новые шрифты, купили бы металлические станки, привлекли бы парижских книгоиздателей, печатая их заказы по сходной цене; но хозяин и фактор, поглощенные своими мечтами, довольствовались заказами немногих оставшихся клиентов. Братья Куэнте наконец разгадали нрав и склонности Давида и уже не порочили его; напротив, деловая сметливость подсказала им, что в их интересах сохранить эту захиревшую типографию и поддерживать ее брэнное существование, лишь бы она не попала в руки какого-нибудь опасного соперника; они даже стали направлять туда мелкие заказы, так называемые акцидентные работы. Итак, Давид Сешар, сам того не подозревая, обязан был своим существованием, в смысле коммерческом, единственно дальновидности своих конкурентов. Куэнте, чрезвычайно довольные *манерой* Давида, как они выражались, действовали, казалось, в отношении Давида со всей прямоотой и честностью, но на самом деле они поступали, как компании почтовых сообщений, которые создают себе мнимую конкуренцию во избежание действительной.

Наружный вид дома Сешара находился в соответствии с отвратительной скупостью, царившей в нем, ибо старый Медведь ни разу его не подновлял. Дождь, солнце, ненастье всех четырех времен года сообщили наружной двери сходство с корявым древесным стволом — настолько она покоробилась, была изборождена трещинами. Фасад, несладно выведенный из кирпича и камня, казалось, накренился под тяжестью старой черепичной кровли, обычной на юге Франции. Окна с прогнившими рамами были снабжены, как водится в этих краях, тяжелыми ставнями с надежными болтами. Трудно было найти в Ангулеме дом более ветхий, державшийся лишь крепостью цемента. Вообразите мастерскую, освещенную с двух концов, темную посредине, стены, испещренные обьявлениями, потемневшие внизу, оттого что рабочие

за тридцать лет изрядно залоснили их своими спинами, ряды веревок под потолком, кипы бумаги, допотопные станки, груды камней для прессования смоченной бумаги, ряды наборных касс и в глубине две клетки, где сидели, каждый у себя, хозяин и фактор, и вы поймете, как жили оба друга.

В 1821 году, в первые дни мая месяца, Давид и Люсьен стояли подле широкого окна, выходившего во двор; было около двух часов пополудни, и четверо-пятеро рабочих ушли из мастерской обедать. Заметив, что ученик запирает наружную дверь с колокольчиком, хозяин повел Люсьена во двор, словно запах бумаги, краски, станков и старого дерева был ему невыносим. Они сели в беседке, откуда могли видеть каждого, кто шел в мастерскую. Лучи солнца, игравшие в листе беседки из виноградных лоз, ласкали поэтов, окружая их сиянием, словно ореолом. Несходство этих двух характеров и двух обликов, очевидное при их сопоставлении, проступало в этот миг так ярко, что могло бы пленить кисть великого живописца. Давид был того мощного сложения, каким природа наделяет существа, предназначенные для великой борьбы, блистательной или сокровенной. Широкая грудь и могучие плечи были в гармонии с тяжелыми формами всего его тела. Толстая шея служила опорой для головы с шапкой густых черных волос, обрамлявших смуглое, цветущее, полное лицо, которое при первом взгляде напоминало лица каноников, воспетых Буало, но, всмотревшись, вы открыли бы в складе толстых губ, в ямке подбородка, в лепке крупного широкого носа с впадинкой на конце — и особенно в глазах! — неугасимый огонь единой любви, прозорливость мыслителя, пламенную печаль души, способной охватить горизонт от края и до края, проникнув во все его извивы, и легко пресыщающейся самыми высокими наслаждениями, едва на них падает свет анализа. Если это лицо и озарялось блистанием гения, готового воспарить, все же близ вулкана приметен был и пепел: надежда угасала от глубокого сознания своего общественного небытия, в ко-

торое безвестное происхождение и недостаток средств ввергает столько недюжинных умов. Рядом с бедным печатником, которому претило его занятие, все же столь родственное умственному труду, рядом с этим Силеном, искавшим опоры в самом себе и пившим медленными глотками из чаши познания и поэзии, чтобы в опьянении забыть о горестях провинциальной жизни, стоял Люсьен в пленительной позе, избранной ваятелями для индийского Вакха. В чертах этого лица было совершенство античной красоты: греческий лоб и нос, женственная бархатистость кожи, глаза, казалось, черные — так глубока была их синева, — глаза, полные любви и чистотой белка не уступавшие детским глазам. Эти прекрасные глаза под дугами бровей, точно рисованными китайской тушью, были осенены длинными каштановыми ресницами. На щеках блестел шелковистый пушок, по цвету гармонизировавший с волнистыми светлыми волосами. Несравненной нежностью дышала золотистая белизна его висков. Неизъяснимое благородство было запечатлено на коротком, округлом подбородке. Улыбка опечаленного ангела блуждала на коралловых губах, особенно ярких из-за белизны зубов. У него были руки аристократа, руки изящные, одно движение которых заставляет мужчин повиноваться, а женщины любят их целовать. Люсьен был строен, среднего роста. Взглянув на его ноги, можно было счесть его за переодетую девушку, тем более что строение бедер у него, как и у большинства лукавых, чтобы не сказать коварных, мужчин было женское. Эта примета, редко обманывающая, оправдывалась и на Люсьене; случалось, что, критикуя нравы современного общества, он, увлекаемый беспокойным умом, в суждениях своих вступал на путь дипломатов, по своеобразной развращенности полагающих, что успех оправдывает все средства, как бы постыдны они ни были. Одно из несчастий, которым подвержены люди большого ума, — это способность невольно понимать все, как пороки, так и добродетели.

Оба друга судили общество тем более неумолимо, что они занимали в нем самое низкое место, ибо люди непризнанные мстят миру за унижительность своего положения высокомерием суждений. И отчаяние их было тем горше, чем стремительнее они шли навстречу неизбежной судьбе. Люсьен много читал, многое сравнивал. Давид много думал, о многом размышлял. Несмотря на свое крепкое, пышущее здоровьем тело, печатник был человек меланхолического и болезненного душевного склада: он сомневался в себе, между тем как Люсьен, одаренный умом смелым, но непостоянным, был отважен, вопреки своему слабому, почти хилому, но полному женственной прелести сложению. Люсьен был по природе истым гасконцем, дерзким, смелым, предприимчивым, склонным преувеличивать доброе и преуменьшать дурное; его не страшил проступок, если это сулило удачу, и он не гнушался порока, если тот служил ступенью к цели. Наклонности честолюбца все же умерялись прекрасными мечтаниями пылкой юности, всегда подсказывающей благородные поступки, к которым прежде всего и прибегают люди, влюбленные в славу. Он покамест боролся лишь со своими желаниями, а не с тяготами жизни, со своими наклонностями, а не с человеческой низостью, являющей гибельный пример для неустойчивых натур. Давид, глубоко очарованный блестящим умом Люсьена, восторгался им, хотя ему и случалось предостерегать поэта от заблуждений, в которые тот впадал по своей галльской горячности. Этот честный человек по характеру был застенчив, вопреки своему крепкому телосложению, но не лишен настойчивости, свойственной северянам. Встречая препятствия, он твердо решал преодолеть их и не падал духом; и если ему была свойственна непоколебимость добродетели, подлинно апостольской, все же его стойкость сочеталась с неиссякаемой снисходительностью. В этой уже давней дружбе один любил до идолопоклонства, и это был Давид. Люсьен повелевал, словно женщина, уверенная, что она любима. Давид повиновался с радостью. Физическая красота да-

вала Люсьену право первенства, и Давид признавал превосходство друга, считая себя неуклюжим тяжкодумом.

«Волу суждено на поле трудиться, беспечная жизнь уготована птице, — говорил про себя типограф. — Вол — это я, орел — Люсьен».

Итак, прошло почти три года с той поры, как друзья связали свои судьбы, столь блистательные в мечтах. Они читали великие произведения, появившиеся на литературном и научном горизонте после восстановления мира: творения Шиллера, Гёте, лорда Байрона, Вальтера Скотта, Жан-Поля, Берцелиуса, Дэви, Кювье, Ламартина и других. Они загорались от этих очагов мысли, они упражнялись в незрелых и заимствованных сочинениях, то отбрасывая работу, то сызнова принимаясь за нее с горячностью. Они трудились усердно, не истощая неисчерпаемых сил молодости. Одинаково бедные, но вдохновляемые любовью к искусству и науке, они забывали о повседневных нуждах в стремлении заложить основы грядущей своей славы.

— Люсьен, знаешь, что я получил из Парижа? — сказал типограф, вынимая из кармана томик в восемнадцатую долю листа. — Послушай!

Давид прочел, как умеют читать поэты, идиллию Андре Шенье, озаглавленную «Неэра», затем идиллию «Больной юноша», потом элегию о самоубийце, еще одну, в античном духе, и два последних «Ямба».

— Так вот что такое Андре Шенье! — восклицал Люсьен. — Он внушает отчаяние, — повторил он в третий раз, когда Давид, чересчур взволнованный, чтоб продолжать чтение, протянул ему томик стихов. — Поэт, обретенный поэтом, — сказал он, взглянув на имя, поставленное под предисловием.

— И Шенье, написав такие стихи, — заметил Давид, — мог думать, что не создал ничего достойного печати!

Люсьен в свой черед прочел эпический отрывок из «Слепца» и несколько элегий. Когда он дошел до строк:

Если это не счастье, так что же? —

он поцеловал книгу, и друзья заплакали, потому что они оба любили до самозабвения. Виноградная листва расцвела, стены старого дома, покосившиеся, с выщербленным камнем, изборозжденные трещинами, приняли пластические формы, где канелюры, рустика, барельефы сочетались с фигурным орнаментом какой-то волшебной архитектуры. Фантазия рассыпала цветы и рубины в мрачном дворике. Камилла Андре Шенье стала для Давида его обожаемой Евой, а для Люсьена — знатной дамой, о которой он вздыхал. Поэзия отряхнула величественные полы своей звездной мантии над мастерской, где, казалось, паясничали типографские Обезьяны и Медведи. Пробило пять; но друзья не чувствовали ни голода, ни жажды; жизнь была для них золотым сном, все сокровища земли лежали у их ног. Для них открылся на небосводе тот голубой просвет, на который указывает перст Надежды тем, у кого жизнь тревожна и кому она, подобно сирене, напевает: «Спешите, летите, спасайтесь от зол там, в лазурной, серебряной, золотой дали!..» В это время стеклянная дверь отворилась и ученик, по имени Серизе, парижский мальчишка, привезенный Давидом в Ангулем, вышел из мастерской во двор в сопровождении незнакомца, которому он указал на двух друзей, и тот, раскланиваясь, подошел к ним.

— Сударь, — сказал он Давиду, извлекая из кармана толстую тетрадь, — я желал бы напечатать вот этот труд. Не откажите в любезности сказать, во что это обойдется.

— Мы, сударь, не печатаем такие солидные рукописи, — отвечал Давид, не взглянув на тетрадь. — Обратитесь к господам Куэнте.

— Но у нас есть очень красивый шрифт, вполне подходящий, — возразил Люсьен, взяв рукопись. — Прошу вас, зайдите завтра и оставьте нам вашу рукопись. Мы подсчитаем, во что обойдется напечатать ее.

— Не с господином ли Люсьеном Шардоном имею честь?..

— Да, сударь, — отвечал фактор.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая	
ДВА ПОЭТА.....	7
Часть вторая	
ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ЗНАМЕНИТОСТЬ В ПАРИЖЕ...	160
Часть третья	
СТРАДАНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ.....	492

Литературно-художественное издание

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ

Ответственный редактор Галина Соловьева
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Кирилла Иванова
Корректоры Валерий Камендо, Елена Шнитникова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

Подписано в печать 01.12.2016. Формат издания 75 × 100 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 31,02. Заказ №

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»

143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93

www.oaompk.ru, www.oaompk.ru

Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685



ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: salc@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



YAKB1282504R